

ЛУИ  
АЛЬТЮССЕР

БИПОЛЯРНОЕ  
РАССТРОЙСТВО

ЧУВСТВО БЕЗНАДЕЖНОГО  
ОДИНОЧЕСТВА

Москва  
издательство  
РОДИНА  
2025

УДК 616.89  
ББК 56.14  
А58

**Альтюссер, Луи.**  
А58      Биполярное расстройство. Чувство безнадежного одиночества : [перевод] / Луи Альтюссер. — Москва : Родина, 2025. — 192 с.

ISBN 978-5-00222-376-3

Луи Альтюссер (1918—1990), один из самых известных французских философов, всю взрослую жизнь страдал биполярным расстройством, у него бывали частые депрессии, начавшиеся после его пятилетнего пребывания в немецком плену в годы Второй мировой войны.

Постоянное психиатрическое и химиотерапевтическое лечение в клиниках, включавшее и радикальные методы (электрошок), не приносило облегчения: в конце концов всё окончилось страшной трагедией, когда Альтюссер задушил свою жену, с которой прожил больше тридцати лет. Судебно-медицинская экспертиза установила, что убийство было совершено «в момент ятрогенной галлюцинации, осложненной меланхолической депрессией». Пройдя принудительное лечение, Альтюссер до самой смерти вел уединенную жизнь ходячего призрака, практически живого мертвеца.

В своей книге, впервые переведенной на русский язык, он с шокирующей откровенностью рассказывает об этой трагедии: «Я убил женщину, которая являлась для меня всем; в своем болезненно-бессознательном состоянии я «оказал ей услугу», от которой она не могла отказаться, но от которой умерла», — а также о мучительной борьбе с болезнью, преследовавшей его всю жизнь.

УДК 616.89  
ББК 56.14

ISBN 978-5-00222-376-3

© Альтюссер Л., 2025  
© Издательство «Родина», 2025

## Благодарности

Мы хотели бы выразить благодарность всем, кто помог нам в подготовке этого издания. В первую очередь — Франсуа Боддару, наследнику Луи Альтюссера, принявшему решение опубликовать эти тексты и неизменно оказывавшему нам доверие. А также:

Режи Дebre, Сандре Саломон, Полетт Тайеб, Мишель Луа, Доминику Лекуру, Андре Тозелю, Станисласу Бретону, Элен Труазье, Фернанде Наварро, Габриэлю Альбьяку, Жан-Пьеру Сайгасу... — за предоставленные документы и ценные свидетельства, позволившие подготовить это издание в наилучших условиях. Однако ответственность за публикацию лежит исключительно на нас.

Отдельная благодарность сотрудникам ИМЕС, особенно Сандрин Самсон, проделавшей огромную работу по систематизации архива Альтюссера.

Вероятно, многим покажется возмутительным, что я не замолчал после того, что совершил, — как и после освобождения от уголовной ответственности, которым, как говорят, «воспользовался».

Но если бы не это освобождение, мне пришлось бы предстать перед судом. А если бы пришлось — мне пришлось бы отвечать.

Эта книга — мой ответ, который в ином случае от меня потребовали бы. И всё, о чем я прошу, — чтобы мне дали возможность его дать. Чтобы позволили сейчас то, что тогда было бы обязанностью.

Конечно, я понимаю: мой ответ здесь — не в рамках судебной процедуры (которая не состоялась) и не в той



*Луи Альтюссер*

форме, какую он принял бы в зале суда. Но разве отсутствие этой процедуры, ее правил и формы не делает то, что я попытаюсь сказать, еще более открытым для общественной оценки — и свободной интерпретации? Во всяком случае, я на это надеюсь. Мой удел — успокаивать одну тревогу, бросаясь в объятия других.

# I

Так, как я это помню — ясно и в мельчайших деталях, выгравированное во мне всеми испытаниями и навсегда.

Между двумя ночами — той, из которой я вышел, не зная, какая она, и той, в которую мне предстояло войти, — я расскажу когда и как. Вот сцена убийства, какой я ее пережил.

Внезапно я стою в халате у изножья своей кровати в квартире в Высшей нормальной школе. Серый ноябрьский свет (это было воскресенье, 16-го, около девяти утра) льется слева из высокого окна, обрамленного старыми, выцветшими алыми портьерами в стиле ампир, истерзанными временем и выгоревшими на солнце.

Передо мной — Элен. Она лежит на спине, тоже в халате.

Ее таз — на краю кровати, ноги беспомощно опущены на ковер.

Я стою на коленях рядом, склонившись над ней, и массирую ей шею. Я часто молча массировал ей затылок, спину, поясницу — научился этому у Клерка, товарища по плену, профессионального футболиста, знатока своего дела.

Но на этот раз я массирую переднюю часть шеи. Я давя большими пальцами в ямку у основания горла и, не ослабляя нажима, медленно веду их вверх — один вправо, другой влево, к плотной области под ушами. Массаж «V-образный». Я чувствую сильную усталость в предплечьях — массаж всегда дается мне тяжело.

Лицо Элен неподвижно и спокойно, глаза открыты, смотрят в потолок.

И вдруг меня охватывает ужас: ее глаза слишком долго не моргают, а главное — между зубами и губами лежит короткий кончик языка, непривычный и безмятежный.

Я видел мертвых, но никогда в жизни не видел лица задушенной женщины. И все же я знаю — это задушенная. Но как? Я вскакиваю и кричу:

— Я задушил Элен!

В панике я бросаюсь через всю квартиру, сбегая по узкой лестнице с железными перилами во двор, к высоким воротам, и несусь к лазарету, где знаю, что найду доктора Этьена. Он живет на втором этаже.

Никого нет — воскресное утро, школа почти пуста, все еще спят. Ору, взлетая по лестнице:

— Я задушил Элен!

Я стучу в дверь врача. Он, тоже в халате, наконец открывает, ошеломленный. Я кричу без остановки, что задушил Элен, хватаю его за воротник:

— Срочно! Идите к ней, или я подожгу школу!

Этьен не верит:

— Это невозможно.

Мы спешно спускаемся, и вот мы оба стоим над Элен. Ее глаза все так же неподвижны, а между зубами и губами — тот самый кусочек языка.

Этьен проверяет пульс:

— Ничего не сделать. Уже поздно.

Я:

— Но нельзя ли попытаться реанимировать?

— Нет.

Тут Этьен просит несколько минут и оставляет меня одного. Позже я пойму: он, наверное, звонил — директору, в больницу, в полицию... Я жду, дрожа.

Длинные красные занавески, изодранные в лоскутья, свисают по бокам окна. Одна из полос — справа — почти касается края кровати.

Я вспоминаю нашего друга Жака Мартена, которого в августе 1964-го нашли мертвым в его крошечной комнате в XVI округе. Он лежал на кровати уже несколько дней, а на груди у него — длинный стебель алой розы. Молчаливое послание нам двоим, кто любил его двадцать лет, — в память о Белояннисе, привет из загробного мира.

Я беру один из узких клочьев красного занавеса и, не отрывая его, кладу на грудь Элен — по диагонали, от правого плеча до левой груди.

Этьен возвращается. Здесь все расплывается. Кажется, он делает мне укол. Мы проходим через мой кабинет, и я вижу, как кто-то (не знаю кто) забирает книги, взятые в школьной библиотеке.

Этьен говорит о больнице.

И я погружаюсь во тьму.

«Очнулся» я — не знаю когда — в Сент-Анн.

## II

Пусть читатели простят меня. Эту маленькую книгу я пишу в первую очередь для друзей — и, если получится, для себя. Скоро станет понятно, почему.

Спустя долгое время после трагедии я узнал, что двое близких (а возможно, не только они) желали, чтобы мне не дали освобождения от суда (основанного на трех судебно-медицинских экспертизах, проведенных в Сент-Анн в неделю после смерти Элен), и чтобы я предстал перед судом присяжных.

Увы, это было благое пожелание.

В тяжелом состоянии (спутанность сознания, бред) я был неспособен выдержать публичный процесс. Следователь, посетивший меня, не смог добиться ни слова.

Более того — по распоряжению префекта полиции я был насильно госпитализирован и лишен дееспособности, а значит, свободы и гражданских прав. У меня не было выбора: я оказался в юридической машине, которой не мог избежать и которой мог только подчиниться.

У этой процедуры есть очевидные плюсы: она защищает обвиняемого, признанного неответственным за свои действия. Но в ней кроются и страшные минусы — менее известные.

После столь долгого испытания я понимаю своих друзей. Говоря об «испытании», я имею в виду не только госпитализацию, но и всё, что пережил с тех пор, — и, как я вижу, всё, что мне суждено пережить до конца дней, если я не выступлю лично и публично с собственным свидетельством.

Слишком многие — из лучших или худших побуждений — рисковали говорить за меня или молчать. Удел освобождения от суда — это надгробный камень молчания.

Постановление о прекращении дела (февраль 1981 года) основано на знаменитой статье 64 Уголовного кодекса в редакции 1838 года — статье, все еще действующей, несмотря на 32 попытки реформы.

Четыре года назад, при правительстве Моро, очередная комиссия взялась за этот сложный вопрос, затрагивающий всю систему административной, судебной и уголовной власти, сросшуюся с психиатрическим знанием, практикой и идеологией принудительной госпитализации.

Комиссия больше не собирается. Видимо, лучшего решения не нашлось.

С 1838 года Уголовный кодекс противопоставляет «невменяемость» (если преступник действовал в состоянии «безумия» или «под принуждением») и полную ответственность «нормального» человека.

Ответственность и невменяемость: две стороны правосудия

Состояние вменяемости запускает классическую судебную процедуру:

- Публичное разбирательство в суде присяжных,
- Прения между обвинением (действующим от имени общества), свидетелями, адвокатами защиты и гражданскими истцами,
- Право подсудимого изложить свою версию событий.

Весь этот публичный процесс завершается тайным совещанием присяжных, которые выносят вердикт:

- Оправдание
- Тюремный срок — где преступник, признанный таковым, «платит долг обществу» и тем самым «искупает» свое преступление.

Состояние юридической невменяемости, напротив, отменяет публичный судебный процесс. Убийца направляется напрямую в психиатрическую больницу. Он тоже «изолирован от общества», но на неопределенный срок и якобы получает «лечение», соответствующее его статусу «душевнобольного».

— Если оправдан — он выходит на свободу с (теоретически) чистой репутацией. Хотя общество может возмущаться вердиктом и дать ему это почувствовать.

— Если приговорен к тюрьме или госпитализации — он исчезает из социальной жизни:

— Тюрьма — на определенный срок (который могут сократить за хорошее поведение).

— Психбольница — на неопределенный срок, с дополнительным ударом:

— Признанный недееспособным, пациент лишается гражданских прав.

— Его опекун (часто юрист) получает право подписывать документы от его имени. Общество считает, что убийца (потенциальный рецидивист) должен быть изолирован навсегда. Поэтому:

— Возмущаются, когда осужденных выпускают досрочно.

— Требуют «пожизненного заключения» не только как замену смертной казни, но и как «естественную меру» за особо жестокие преступления.

А как же «безумец»? Его считают еще опаснее — потому что непредсказуем.

Проблема психиатрического заключения:

1. Сроки

— Обычный преступник знает срок (2 года, 5 лет, 20 лет...).

— «Безумец» интернирован без четких временных рамок.

— Даже врачи не могут точно предсказать, когда наступит улучшение.

## 2. Клеймо

— Оправданный или отбывший срок преступник теоретически возвращается к нормальной жизни.

— Но реальность жестче: общество помнит и осуждает.

— Однако закон защищает таких людей: они могут подать в суд за клевету, если их прошлое используют против них.

## 3. Положение «безумца»

— Для общества он «пропавший без вести» — не живой и не мертвый.

— Кто навещает интернированных? Почти никто.

— Он не может публично защищаться, не может доказать, что изменился.

— Он исчезает — как жертва войны, о которой все забыли. Я пишу об этом, потому что пережил это — и в каком-то смысле живу с этим до сих пор.

Даже после выхода из больницы (уже два года) для многих я остаюсь «пропавшим».

Не мертвый, но и не живой.

Еще не похороненный, но «без будущего» — как сказал Фуко о безумии.

Исчезнувший.

Исчезнувший: между жизнью и смертью

Но в отличие от мертвого, чья кончина ставит точку и чье тело предадут земле, «исчезнувший» создает для общества тревожную возможность — вернуться.

(Как писал Фуко о себе: «под яркое солнце польской свободы» — когда почувствовал себя исцеленным.)

Этот странный статус — человека, который может внезапно появиться вновь, — порождает в обществе глухое беспокойство и чувство вины.

Потому что исчезновение не гарантирует окончательного конца для преступника или убийцы, помещенного в психиатрическую больницу.

Здесь кроется страх смерти — непреодолимый инстинкт.

Обществу хотелось бы, чтобы дело было закрыто раз и навсегда — через интернирование.

Но если «безумец» вдруг возвращается (даже с разрешения врачей), общество вынуждено искать компромисс между:

— неожиданным и неудобным фактом его возвращения,

— и первым шоком от убийства, который теперь всплывает вновь.

А вдруг он снова совершит преступление? Таких случаев полно!

Или, может, он действительно стал «нормальным»?

Но если да, то был ли он «ненормальным» в момент преступления?

В сознании общества, ослепленного стихийной (и намеренно культивируемой) идеологией преступления, смерти, «пожизненного долга» и «опасного, непредсказуемого безумца», суд, которого не было, вот-вот начнется заново — на публичной площади.

И, как прежде, у безумного убийцы нет права объясниться.

Человек, обвиненный в преступлении и не получивший освобождения от суда, проходит через тяжелое испытание — публичный процесс.

Но, по крайней мере, у него есть возможность:

— публично защищаться,

— слышать свидетельства,

— получать помощь адвокатов,

— самому объяснить свою жизнь, преступление и будущее.

Даже если его осудят, он может заявить о невиновности — и иногда это приводит к пересмотру дела и оправданию.



### *Режи Дебре*

Общественные комитеты могут встать на его защиту.

Это принцип гласности суда, который еще в XVIII веке итальянский юрист Беккариа (а за ним и Кант) считал главной гарантией справедливости.

А что с «невменяемым»?

Для убийцы, освобожденного от суда, всё иначе.

Два обстоятельства лишают его права на публичное объяснение:

1. Интернирование и лишение дееспособности.

2. Врачебная тайна.

Что знает общество?

— Факт убийства.

— Результат вскрытия («смерть от удушения» — и ни слова больше).

— Постановление о прекращении дела (через несколько месяцев) на основании статьи 64 — без комментариев.

Но общество не узнает:

— Детали судебно-медицинских экспертиз.

— Диагноз (предварительный) и прогноз врачей.

— Лечение, которое получал пациент.

— Его отчаянные попытки понять причины трагедии.

И если он выйдет из больницы (если выйдет...) — никто не узнает:

— Как он себя чувствует.

— Почему его выпустили.

— Через какие муки «переходного периода» он проходит (часто в одиночку).

— Как медленно и болезненно он возвращается к жизни.

Родные и друзья, пережившие трагедию без объяснений, разрываются между:

— Ужасом перед преступлением (и его эксплуатацией в прессе).

— Любовью к убийце, которого они знали и, возможно, любили.

Они не могут совместить образ близкого человека с фигурой убийцы.

Они ищут объяснений, но их не дают — или предлагают жалкие гипотезы («слова, слова»!).

К кому им обратиться, кроме лечащих врачей?

Но врачи связаны профессиональной тайной и часто сами не уверены в диагнозе.

Странная «диалектика» возникает между:

— Тревогой пациента (которая в тяжелых случаях, как у меня, заражает врачей и медсестер).

— Тревогой близких.

Врач должен «держаться» — и перед своей тревогой, и перед страхом медперсонала, и перед отчаянием родных.

Но это «держаться» невозможно скрыть.

Ничто так не пугает пациента и близких, как эта очевидная борьба врача с тем, что кажется ему возможно необратимым.

Да, на горизонте мысли врача и ожиданий близких маячит призрак пожизненного интернирования.

Даже если больной возвращается, даже если близкие поддерживают его (как в моем случае), их не покидает страх:

— Сможет ли он когда-нибудь вырваться из этого?

— А вдруг в больнице он «сорвется» снова?

— Не до убийства (хотя и это возможно),

— но до нового приступа.

— Если его снова госпитализируют — выйдет ли он вообще?

— А если выживет — какой ценой?

— Не останется ли он навсегда сломленным?

— (Таких сколько угодно!)

— Или бросится в новую манию — опасную, неконтролируемую?

Этот страх не отпускает.

И даже самому вернувшемуся кажется, что он никогда не будет свободен.

Не от преступления — от его тени.

Тяжелейшая дилемма: как согласовать несовместимое?

Но есть и более глубокая проблема. Как примирить те объяснения, которые каждый из близких выстроил в своем сознании (ведь у каждого — своя версия, своё «последствие» трагедии, попытка осмыслить непостижимое), с теми объяснениями, которые предлагаю им я?

Они плохо знали Элен. Но на основе отрывочных впечатлений, поверхностных наблюдений и сиюминутных настроений они — волей-неволей — создали о ней собственное представление, зачастую нелестное («подруга друга» — это всегда сложно).

Как согласовать их видение трагедии с теми смутными догадками, которые я, в темноте своего «безумия»,

пытаюсь им предложить? Мои друзья оказались в парадоксальной ситуации.

— Они помнят детали, которые я, защищаясь, стер из памяти (кроме самого момента убийства).

— Они боятся делиться этим со мной — чтобы не разбудить во мне ужас того дня,

— чтобы не оживить злые намеки прессы (особенно когда речь идет об «известном человеке»),

— чтобы не вскрыть молчание тех, кто был рядом, но предпочел отстраниться.

Они знают: каждый из них искал ответы по-своему — или старался забыть (что невозможно).

И если они заговорят, наша братская связь — не только со мной, но и между собой — может разрушиться.

Потому что речь идет не только о моей судьбе, но и — без сомнения — о судьбе их собственной дружбы. Раз уж другие говорили за меня, а закон лишил меня права на публичное объяснение, я решил взять слово сам.

Прежде всего — для друзей. А если получится, то и для себя.

Чтобы приподнять тяжелую плиту, что легла на мою жизнь.

Да, я хочу освободиться.

Один. Без советов и одобрений.

Освободиться от последствий того состояния, в которое меня погрузили:

— Крайняя тяжесть моего положения (врачи дважды считали, что я умираю),

— Убийство,

— И, главное, двусмысленные последствия освобождения от суда, против которого я не мог возразить — ни фактически, ни юридически.

Я был обречен выживать — под надгробной плитой молчания и публичной смерти. Конечно, я прошу учесть: мои слова — не просто субъективные впечатления.

Я тщательно готовился:

— Консультировался со всеми врачами, лечившими меня — до, во время и после больницы.

— Беседовал с друзьями, которые наблюдали за мной все эти годы (двое из них вели дневники с июля 1980 по июль 1982).

— Изучал мнения фармакологов и биологов по ключевым вопросам.

— Проанализировал прессу (не только французскую, но и зарубежную) — и убедился, что, за редкими политически мотивированными исключениями, журналисты были корректны.

Я сделал то, что никто не сделал до меня: собрал и сопоставил все данные, как если бы речь шла о постороннем человеке.

И теперь — в полном сознании и с полной ответственностью — решил говорить. Мне говорили:

— «Ты всколыхнешь историю снова. Молчи — не создавай волн».

— «Единственный выход — молчание и смирение. Ты не изменишь общество своими объяснениями».

Я не верю в эту осторожность.

Я не думаю, что мои слова разожгут полемику.

Напротив: я убежден, что могу не только объяснить, но и побудить других задуматься — на примере конкретного опыта, критическая исповедь о котором не имеет аналогов (разве что — потрясающее признание Пьера Ривьера, опубликованное Мишелем Фуко).

Опыта, который выходит за мои личные рамки, потому что затрагивает:

- Юридические,
- Уголовные,
- Медицинские,
- Психоаналитические,
- Социальные вопросы.

Опыта, который, возможно, прольет свет на споры о:  
— Уголовном праве,  
— Психиатрии,  
— Принудительной госпитализации,  
— И их влиянии даже на сознание врачей, которые  
тоже заложники системы. Я — не Руссо. Но...

Я не смею, как он, заявить: «Я предпринимаю дело, не имеющее примера».

Но могу честно повторить его слова:

«Я открыто скажу: вот что я сделал, что я думал, кем я был».

И добавлю:

«Что я понял (или думаю, что понял). Что уже не вполне во власти моей воли — но чем я стал». Что это за текст?

Не дневник. Не мемуары. Не автобиография.

Я отбросил всё лишнее, оставив только следы эмоций, которые сформировали мою жизнь — и определили мою суть.

Иногда я следую хронологии, иногда нарушаю её — не для путаницы, а чтобы выявить те главные переживания, вокруг которых, как мне кажется, я сложился как личность.

Этот метод возник сам собой — судите о нём по результату.

Как и о роли в моей жизни тех жестоких структур, которые я когда-то назвал «Идеологическими аппаратами государства» (ИАГ).

К моему собственному удивлению, без них я не смог бы понять, что со мной произошло.

### III

Я родился 16 октября 1918 года, в четыре тридцать утра, в лесном доме «Булонского леса» (коммуна Бирмандреис, в 15 км от Алжира).

Мне рассказывали, что мой дед, Пьер Берже, сбежал вниз, чтобы позвать русскую женщину-врача, знакомую моей бабушки.

Эта грубоватая, шумная и добрая женщина примчалась, приняла роды и, увидев мою крупную голову, заявила:

«Этот — не такой, как все!»

Эти слова, видоизменяясь, долго преследовали меня.

Я помню, как моя двоюродная сестра и родная сестра повторяли про меня в подростковые годы:

«Луи — типарт».

(Для них эти три слова слились в одно.)

Когда я родился, моего отца не было рядом уже девять месяцев — сначала он был на фронте, потом задержался во Франции до демобилизации.

Полгода у моей колыбели не было отца.

До марта 1919 года я жил только с матерью — в доме деда и бабушки по материнской линии.

Крестьянские корни и алжирская эпопея

Оба моих деда были детьми бедных крестьян из окрестностей Фура в Морване (департамент Ньевр). В юности они по воскресеньям пели в церковном хоре:

— Мой дед, Пьер Берже, — на задней скамье у входа, рядом с мальчишками из деревни,

— Бабушка, Мадлен Некту, — ближе к алтарю, с девочками.